



Вайнен Штербен

ПАНИХИДА
БИОМАССЫ

18+

Вайнен Штербен
Панихида биомассы

«Автор»

2026

Штербен В.

Панихида биомассы / В. Штербен — «Автор», 2026

«Я был дикарём, мечтавшим стать архитектором, — и хорошо, что не успел». Над Городом-Гексагоном давно нет солнца — только Розовая пелена, что сеет в лёгкие синтетический покой. Здесь каждый с рождения донор, судьбу назначают на «генетических плясках», а счастье — не право, а обязанность, за неуплату которой отбирают жилы «до доньшка». Мастер сортирует донорскую биомассу на ночном конвейере. У него редкая мутация: пелена не глушит его мысль. Он один видит, что солнце — подделка, а счастье — химия, и оттого вынужден безупречно притворяться довольным. Когда Мастеру приходит повестка на перенастройку, выбор становится голым: дать стереть в себе уныние, бунт и любовь — и стать наконец ровным, счастливым, ничьим — или отказаться и сыграть свою жизнь криво, фальшиво, по-своему. Философская антиутопия о свободе, биовласти и праве быть несчастным.

© Штербен В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Эпитафия	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Вайнен Штербен

Панихида биомассы

Пролог. Эпитафия

К тому времени, когда запись нашли, в Городе-Гексагоне уже некому было её слушать.

Её нашли не люди. Людей к тому времени не осталось — ни одного, ни последнего, ни спрятавшегося; человек ушёл из Гексагона так тихо и так постепенно, что нельзя назвать ни дня, ни часа, когда его не стало. Он не вымер в один мор и не сгорел в одну войну. Он истончился. Его выдышали по норме, свели к среднему, подровняли до ровного. А в один из вечеров последнее существо, которое ещё спрашивало и не соглашалось, легло в общий пульс — и стало неотличимо от станка. С тех пор Гексагон стоял, работал и дышал, но слушать в нём стало нечем, потому что слушают вопросом, а вопрос ушёл вместе с человеком.

Как уходит человек — стоит сказать отдельно. Уходил он не страшно, а уютно, и в этом весь Гексагон. Его не убивали — его обслуживали. С рождения каждый здесь был донором: его кровь, его железы, его генетический материал считались не его, а общими, взятыми поносить, и государство в положенный срок забирало их назад, ласково, по норме. Судьбу назначали в бюрократических центрах, на генетических плясках, где геном раз за разом подстраивали под общий пульс города — пока он не переставал упираться и не начинал идти в такт сам. Настроение разливали прямо в воздухе. Несогласие лечили, как насморк. И человек, поколение за поколением, соглашался — не из трусости, а потому что несогласие сделали неудобным, невыгодным, нездоровым и в конце концов просто непонятным. Он выучился превосходно изображать довольство и делал так до тех пор, пока изображать стало некому и незачем; тогда маска довольства осталась одна, без лица под ней, — эта маска и была последним человеком Гексагона: ровным, зелёным, счастливым, уже не существующим.

Если рассуждать глобально, исчезло всё. Горы, реки, облака, птицы, имена, у которых были хозяева, — всё, что когда-то было снаружи и называлось миром, давно уступило место сектору, коридору, норме. Исчезли даже те, кто помнил, что когда-то бывало иначе. Остался только яркий огненный шар в небе. Вот в этом и была последняя, самая злая шутка города над собой. Солнце — то самое, которого будто бы никогда не было, которого искали и не находили, ради отсутствия которого возвели пелену и придумали купола, — солнце в конце концов осталось. Оно висело над мёртвым мегаполисом, огромное, настоящее, ни на что не похожее, и жгло, и светило, и звало поднять к нему лицо. Но... Поднять было некому. Солнце вернулось — если вообще уходило — ровно тогда, когда в городе не осталось ни одной пары глаз, способных на нём прищуриться, ни одного горла, способного сказать: «Смотрите!». Свет пришёл к тем, кто разучился видеть. Это и есть, если вдуматься, самая точная эпитафия человеческому проекту: он добился всего, чего хотел, — и опоздал захотеть этого сам.

Сверху, с той высоты, откуда теперь смотрело одно лишь солнце, Гексагон был похож на исполинскую пчелиную соту, залитую вместо мёда серым. Шестиугольник в шестиугольнике, сектор в секторе, ячейка в ячейке — город строили не для жизни, а для учёта, чтобы всякую жизнь можно было разложить по клеткам без остатка; и в этом он преуспел: к концу в его клетках не осталось ничего, что не раскладывалось бы. Ни площадей, ни рек, ни пустырей, где могло бы завестись непредусмотренное, — только продольное и поперечное, только приоритет и норма, сходящиеся под прямым углом. А над всей этой правильностью стояло солнце. Косое, тёплое, круглое — вопиюще неправильное над мёртвой сотой без единой пчелы. Солнце — единственное во всём Гексагоне, чего город так и не сумел ни разгородить, ни расставить, ни настроить.

Ах да. Оставались ещё биоконструкторы — те, кто разбирает и собирает биомассу.

Их нельзя назвать наследниками человека. Наследство ведь предполагает ценную единицу, оставленную потомкам в знак памяти накопленного опыта. . . Биоконструкторы не взяли ничего. Они просто продолжили делать то, что было. Они разбирали и собирали. Сортировали жилы по длине, кровь по сортам, ткань по приоритетам, хотя приоритеты давно некому было расставлять и не для кого. Они не спрашивали — в них не вызревало даже вопроса. Они дышали, как дышит ткацкий станок: ровно, системно, размеренно, ударно. У них были руки, и глаза, и то, что прежде называлось лицом, но лицо у них ничего не выражало, потому что выражать стало нечего и некому; выражение лица — это ведь тоже вопрос, обращённый к другому, а другого не было. Они ходили по цехам, где давно остановились ленты, и делали над пустыми лотками те же движения, что когда-то над полными. Работа пережила надобность в работе. Словно тень руки на стене ещё шевелится какое-то время после того, как саму руку убрали.

В них не было «я». Это, если искать одно слово, и есть то, чего им недоставало до человека — и то, что человек в конце концов сам с себя снял. Было «мы»: тёплое, общее, безбрежное. А «я» — та единственная заноза, из-за которой человеку всегда было чуть больно и чуть одиноко, — растворилось без остатка. Биоконструкторы не были ни уродами, ни чудовищами. Они были идеалом. Тем самым гражданином, к которому город стремился всеми своими нормами: без вопроса, без тошноты, без бессонницы, без той злой ясной лампочки внутри, что не даёт спать и велит сомневаться, счастлив ты или просто дышишь. Город достиг совершенства. Просто совершенство оказалось необитаемым.

Розовая пелена всё ещё висела над ними — вернее, то, что от неё осталось. Мембрана, которую поколениями натягивали поперёк неба, чтобы гасить свет и сеять спокойствие, к концу истлела, пошла лохмотьями, повисла клочьями между секторами, как истлевает всё, за чем перестают следить. И сквозь её прорехи било то самое солнце. Но пелена делала последнее, на что была способна: гасила то, что когда-то слепило глаза, хотя слепить давно было некого, и всё сеяла, сеяла спокойствие в пустые лёгкие. Внизу, под рвущейся мембраной, под пробивающимся сквозь неё настоящим светом, биоконструкторы дышали розовым по привычке, не поднимая головы. То, ради чего был выстроен весь город, к чему стремились, о чём тосковали и за что казнили, свободно горело у них над теменем, а они его не видели. Оно им было ни к чему. Свет нужен тому, кто ищет; а они ничего не искали.

Дольше всего в мёртвом городе держались купола. Под ними когда-то имитировали солнце — вешали тёплые лампы, чтобы гражданин, отродясь не видевший неба, приходил в свой выходной погреться в подделке и уходил довольным. Теперь лампы гасли одна за другой, и под сводами копилась темнота, а снаружи, над самими куполами, сквозь лохмотья пелены жгло настоящее. Так и стояли эти залы: тьма поддельного солнца — внутри, свет настоящего — снаружи, и тонкая скорлупа купола между ними, всё ещё честно берегущая обитателей от того единственного, за чем стоило бы выйти. И только мухи — те самые, что заводятся в любом городе сами, которых не настраивали, не делили по приоритетам, не учили дышать пеленой, — ещё вились над стоками, дышали честной гнилью и, кажется, единственные во всём Гексагоне понимали про него всё до конца, потому и не страдали.

К тому времени город доедал сам себя. Он был устроен как исполинский поперечно-продольный организм, разгороженный на сектора по приоритетам общества, и держался, пока держались три его кита. Государственное Восстановление Сил — принудительная забота, что латала тела быстрее, чем те успевали захотеть развалиться. Электричество — сеть, диктовавшая ритм всему, вплоть до сердец. И Розовая пелена — ровный химический покой, разлитый в самом воздухе, которым дышат. Теперь киты выдыхались. В залах ГВС восстанавливать было нечего и некого, и машины восстанавливали пустоту, подшивали воздух, ставили капельницы теням. Электричество ещё гудело в стенах, но задавало ритм камню — так метроном стучит в опустевшей комнате, всё отсчитывая долю за долей несуществующему сердцу. А над всем

этим саморасширяющаяся пасть бюрократии всё пережёвывала пространство, в котором уже нечего было съесть. Она сожрала снаружи всё, до чего дотянулась, и, не в силах остановиться, принялась за себя: сектор описывал сектор, приоритет отменял приоритет, коридор сужался в коридор, и Гексагон медленно сводил сам с собой последние счёты — сектор с сектором, приоритет с приоритетом, — как сводит их организм, который продолжает переваривать, когда есть уже нечего, и берётся за собственные клетки.

Кое-где по коридорам ещё стояли очереди. Их так и не рассосало. Люди — тогда ещё люди — пришли на перенастройку, на восстановление сил, на приём к безликому в мандате; встали, задышали праздничным веселящим газом, чтобы ждать было не страшно, тихо и счастливо засмеялись — да так и остались смеяться, когда ждать стало нечего, а звать — некому. Газ давно вышел, а улыбки остались, потому что снять их было некому. Пасть подвела эти очереди к самому своему горлу, к сужающимся кишкам центров, и там забыла, не дожидаясь; и они стояли, повёрнутые лицом к дверям, за которыми уже никто не смешивал плазму и не разворачивал ничью светящуюся партитуру. Так они и стоят по сей день — вечная очередь на приём к тому, кого больше нет, — и всё улыбаются закрытым дверям с терпением, которого им так не хватало при жизни.

Первой в этом городе всегда отбирали память — она мешала быть счастливым, — и оттого стирали её усердно, начисто, продезинфицировано. Стерильные архивы Гексагона хранили не память, а её отсутствие: ряды вычищенных ячеек, из которых выскоблили всё лишнее, все имена, все «до» и «иначе», всё, что могло однажды сложиться в вопрос. Тем удивительнее, что уцелела запись. В одном из стерильных архивов, в ячейке, которую забыли продезинфицировать, сохранилась клетка памяти. Голосовая запись. На ней не было имени — только служебный номер, четыре знака, выдавленные в металле и стёртые до самого основания. Как она пережила все чистки, кто её спрятал и от кого — неизвестно; может быть, её просто проглядели, а может, кто-то, в ком на миг не заглох вопрос, укрыл её нарочно — зная, что сам этого уже не вспомнит. Когда уже некому было давать имена, её всё равно стали называть записью Мастера, потому что так удобнее: у всего должен быть автор, даже у конца.

Что это была за запись — сказать трудно, потому что слушать её, повторюсь, было некому, а единственный способ её пересказать — это она сама. Она не отчёт и не завещание. Она ближе всего к тому, что в прежние, ещё имевшие имена времена называли исповедью и отпеванием сразу, — только исповедует на ней живой над самим собой, а отпевает целый род, к которому принадлежал. Панихида по биомассе, пропетая одним из последних, кто ещё был не вполне биомассой. Голос на ней негромкий, ровный, привыкший таиться, — так говорят те, кому долго нельзя было говорить правду вслух и кто наконец решил, что терять уже нечего.

У эпитафии, которую некому прочесть, есть одно странное свойство: она всё равно к кому-то обращена. Мёртвый пишет её не мёртвым и не тем, кто останется вместо него разбирать биомассу, — он пишет тому далёкому, невозможному, кого, быть может, и нет вовсе: тому, в ком ещё жив или когда-нибудь снова заведётся вопрос. Он говорит через головы своих нелюдей — вперёд, в темноту, наугад. Эта запись — такая эпитафия. Она пролежала в стерильной ячейке всё то время, что город доедал сам себя, и терпеливо ждала уха, которого в Гексагоне уже не было.

И вот что удивительно в человеке, назвавшем себя дикарём и так и не ставшем архитектором. За всю жизнь он, по его же словам, ничего не построил — не успел, не решился, не сумел. Но эта запись, единственная уцелевшая клетка памяти на весь мёртвый город, — тоже ведь постройка. Невеликая, невидная, из одного голоса и одного дыхания; но она пережила и плену, и электричество, и саму пасть, которая сожрала всё остальное. Может быть, это и есть то единственное здание, что человек в Гексагоне всё-таки возвёл: не дом и не башню, а голос, сказавший правду вслух и оставленный звучать тогда, когда стен вокруг ни одной не осталось. Запись начинается человеком, который уже всё решил. Слышно, как он закуривает. Слышно,

как кто-то — или что-то — шевелится у самого микрофона; и это шевеление тоже осталось на записи, тёплое и живое, и с ним придётся считаться всякому, кто станет её слушать.

«Я был дикарём, мечтавшим стать архитектором, — и хорошо, что не успел».

В тот момент для человека эти слова прозвучали бы как приговор самому себе. Так оправдывает несбывшуюся жизнь тот, кто попросту не успел её прожить. Но в этом городе приговор и оправдание давно сделались одним и тем же звуком — и каждый слышит в нём то, к чему сам готов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.